

СТАТЬИ



А. В. АРХИПОВА

ДОСТОЕВСКИЙ И АДАМ МИЦКЕВИЧ

Имя Адама Мицкевича ни разу не встречается ни в сочинениях, ни в письмах, ни в записных тетрадах Достоевского. А между тем вопрос об отношении Достоевского к великому польскому поэту ни в коей мере не представляется надуманным. Несомненно, А. Мицкевич относился к тому кругу художников и мыслителей, которые вызывали живой интерес Достоевского, к которым он возвращался в разные периоды своей творческой жизни. Можно сказать, что восприятие Достоевским творчества Мицкевича как-то проясняет отношение писателя к больному для него польскому вопросу, являясь одной из граней этого отношения.

Не ставя перед собой задачу окончательно и вполне прояснить поставленную проблему, что, вероятно, под силу не только специалисту в области изучения Достоевского, но и ученому-полонисту, попробую наметить основные вехи в истории сложного и неоднозначного восприятия польского поэта-романтика русским романистом.

В молодые годы Достоевский безусловно знал творчество А. Мицкевича. Автор «Крымских сонетов» и «Конрада Валленрода» был широко читаем в России. Многие его произведения тут же переводились на русский язык, становясь фактом русской поэзии. Мицкевич всегда воспринимался как самый яркий выразитель польской национальной идеи, как гениальный поэт. Не случаен поэтому интерес к его творчеству поэтов-декабристов. В романтическом сознании эпохи 1830-х годов творчество Мицкевича и его судьба занимали видное место, оказывая несомненное воздействие на выработку общего трагического мировосприятия той эпохи.

Молодой Достоевский находился в сфере этих проблем. Многие в кругу близких ему людей проявляли интерес к польской литературе. Вспомним, что братья М. М. и Ф. М. Достоевские в конце 1830-х годов постоянно посещали дом отставного ротмистра Меркурова, с которым их познакомил И. Н. Шидловский, давний друг Меркурова. С его женой, украинкой по национальности, Михаил Михайлович вместе изучал польский язык. В письме к отцу от

17 февраля 1838 г. он сообщает, что в результате этих занятий через год будет в подлиннике читать Мицкевича и Основьяненко.¹ Восторженные отзывы о семействе Меркурова встречаются в письмах братьев Достоевских этого периода. Федор Михайлович продолжал бывать у них и после отъезда Михаила Михайловича в Ревель (см.: 28₁, 49, 402). Видимо, среди разных тем разговоров в этом доме не последнее место занимала польская литература.

Кроме того, старший брат знакомого Ф. М. Достоевского, Петра Петровича Семенова (Тян-Шанского) — Николай Петрович Семенов, соученик М. В. Петрашевского по лицу, познакомивший с ним своего брата,² был известным переводчиком Мицкевича.

Известно, что имя А. Мицкевича фигурировало на собраниях петрашевцев. Мицкевич воспринимался ими как оппозиционер, враг русского самодержавия. Несомненно, что самым популярным его сочинением в кругу петрашевцев были русские строфы поэмы «Дзяды», той ее третьей части, которая создавалась в эмиграции (так называемые «дрезденские» «Дзяды») и вышла в Париже в 1832 г. В России сочинение это было безусловно запрещено. Строфы, посвященные России, так называемый «Отрывок», или «Отступ», заключаются посланием «Русским друзьям». Перевод этого послания был сделан Н. А. Момбелли и фигурировал на следствии по делу петрашевцев.³

«Выписки из демагогических сочинений Адама Мицкевича» были найдены при обыске в бумагах Петрашевского.⁴ Примечательно, что Мицкевич воспринимался петрашевцами как глава славянофильского направления.⁵ Вопрос о существовании особой славянофильской партии или общества славянофилов очень заинтересовал следствие, и ряд объяснений по этому вопросу содержится в следственном деле Ф. Г. Толя. Он показал, что, по словам Ястржембского, Мицкевич высказал мысль о том, что «второе пришествие Иисуса Христа должно совершиться в славянском мире» и что он, Толь, составил себе понятие о Мицкевиче «как о ревностном поборнике идей славянофилизма и исключительности судеб славянского мира перед Западом».⁶

Если к этому прибавить, что хорошо известная братьям Достоевским и высоко чтимая ими Жорж Санд посвятила в 1839 г. специальную статью разбору «Дзядов» и сама испытала на себе влияние этого произведения,⁷ то о знакомстве Достоевского с творчеством Мицкевича к 1840-м годам можно сделать определенные выводы.

¹ Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1980. Л., 1981. С. 73.

² См.: Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары // Достоевский в воспоминаниях современников. Л., 1964. Т. 1. С. 202—203.

³ Дело петрашевцев. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 296 и 345.

⁴ Там же. С. 513. (Какие сочинения имеются в виду, не указано. — А. А.).

⁵ Там же. Т. 2. С. 172; Т. 3. С. 422.

⁶ Там же. Т. 2. С. 192—193.

⁷ См.: Хатисова Г. Г. Жорж Санд о литературе. Статьи 30—40-х годов // Литература и эстетика: Сб. статей. Л., 1960. С. 205; Трескунова М. Жорж Санд: Критико-биографический очерк. Л., 1976. С. 77—80.

Итак, А. Мицкевич был известен в эти годы Достоевскому не только по имени. Начинающий писатель был, вероятно, достаточно начитан в его произведениях.

Мицкевич воспринимался как оппозиционер, враг самодержавия и крепостничества, с одной стороны, и как носитель национальной и, шире, общеславянской идеи, окрашенной в религиозно-мистические тона, как один из основателей славянофильства.

И, наконец, можно утверждать, что несомненно известным Достоевскому было наиболее популярное в России сочинение Мицкевича — «Дзяды», особенно «Отрывок» III части, посвященный России.

Сравнительный анализ текстов обоих художников подтверждает этот вывод.

Основная тема всех русских строф, составляющих «Отрывок», связана с образом Петербурга. Для Мицкевича это прежде всего столица Российской империи, центр и средоточие русского самодержавия. Это город-казарма, город-тюрьма, несмотря на всю его внешнюю пышность. Отсутствие свободы сказалось даже в планировке его улиц, регулярной и казенной, во времяпрепровождении его жителей.

Мицкевич, живя в Петербурге, вероятно, познакомился и с некоторыми из легенд и преданий, которыми так богат фольклор северной столицы. Один из самых распространенных и устойчивых мотивов петербургского фольклора — обреченность города, неизбежная гибель его от наводнения — сложился еще в эпоху первоначального строительства Петербурга.⁸ Целый ряд петербургских преданий, как и большинство фольклорных легенд вообще, связан с образом таинственных призраков умерших, появляющихся в критические моменты истории страны и жизни города в разных местах Петербурга. Призрак Петра — самый распространенный герой подобных легенд.⁹

В своем восприятии Петербурга польский поэт, несомненно, учитывал и складывающуюся в русской литературе традицию восприятия столицы как города холодного и казенного, противопоставляемого древней Москве с ее нерегламентированным бытом.¹⁰

Как бы то ни было, А. Мицкевич в «Отрывке» из «Дзядов» создал свою концепцию Петербурга, впервые объединив все основные образы и мотивы петербургского мифа, разработанного позднее русской романтической литературой.

⁸ См.: *Каратыгин П. П.* Летопись петербургских наводнений. 1703—1879 гг. СПб., 1888. С. 8.

⁹ О мифологии Петербурга см.: *Назирова Р. Г.* Петербургская легенда и литературная традиция // Традиции и новаторство. Уфа, 1975. С. 122—135; *Лотман Ю. М.* Символика Петербурга и проблема семиотики города // Семиотика города и городской культуры. Петербург. Тарту, 1984. С. 30—45 (Учен. зап. ТГУ. Вып. 664. Труды по знаковым системам. XVIII)..

¹⁰ О противопоставлении Петербурга Москве в литературе пушкинской эпохи см.: *Вацура В. Э.* Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х гг. // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. 160—170.

1. Согласно Мицкевичу, Петербург — это город, воздвигнутый по воле тирана, а не возникший естественным путем исторического развития, как столицы других государств.

Бог, ремесло иль некий покровитель,
Вот кто был древних городов зиждитель.¹¹

Петербург же был создан вопреки желанию народа:

Не люди, нет, то царь среди болот
Стал и сказал: «Тут строиться мы будем!»
И заложил империи оплот,
Себе столицу, но не город людям.
«Петербург». *Пер. В. Левика. (Там же)*

Поэтому Петербург не органичен для русской жизни, это город, чуждый России.

2. Мицкевичем постоянно подчеркивается казарменный, казенный и бесчеловечный облик города. Не только планировка, архитектура, но и вся жизнь Петербурга сложилась по распоряжению свыше, по установленному ранжиру. Несмотря на пышность и роскошь одних людей и кварталов и нищету и униженность других, всех их объединяет одно — бесправие, подчиненность единому владыке — царю. Мысль эта выражена в большинстве частей «Отрывка» («Пригороды столицы», «Петербург», «Смотр войска», «Олешкевич»).

3. Особое внимание в «Отрывке» уделяется фигуре основателя города и ее воплощению в бронзовой конной статуе Петра. Фальконетовский монумент приобретает у Мицкевича символическое и почти мистическое значение. Поэт трактует идею памятника как образное воссоздание русской истории:

Царь Петр коня не укротил уздой.
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметая все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
«Памятник Петру Великому». (Т. 3. С. 267)

4. Петербург, утверждает Мицкевич, это город с двойным лицом. Внешность его обманчива. Это город-призрак, город-мираж. Обманная природа его связана с его происхождением. Петербург — создание дьявола.

У зодчих поговорка есть одна:
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.
«Петербург». (С. 261)

¹¹ *Мицкевич Адам. Собр. соч.: В 5 т. М., 1952. Т. 3. С. 260.* В дальнейшем цитаты из А. Мицкевича даются в тексте по этому изданию с указанием тома и страницы.

5. И как следствие всего сказанного, Петербург — город, обреченный на гибель, на уничтожение, подобно библейским городам Ассирии и Вавилона, наказанным Богом за их греховность. Гибель Петербурга непременно произойдет оттого, что поднявшиеся морские волны поглотят его. В ночь перед страшным ноябрьским наводнением 1824 г. польский художник и мистик Олешкевич пророчесствует, обращаясь к царскому дворцу и его обитателю:

Сегодня льстец тебя как Бога славит,
Но завтра сатана тебя раздавит.

.
В разврате, в пьянстве, в роскоши блестящей
Погрязли вы и спите крепким сном,
Забыв, что завтра грянет Божий гром.
«Олешкевич». (С. 284)

Все эти образы и мотивы были подхвачены русской литературой и широко в ней использовались. Они отразились в «Медном всаднике» Пушкина, частично в полемике с Мицкевичем, частично в согласии с ним. Образ города-призрака, города-дьявола, где «всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется», возникает у Гоголя. Мотив неизбежной гибели Петербурга мы находим в «Торжестве смерти» В. С. Печерина и во многих произведениях 1830-х гг. «Дяды» вообще, а не только русские строфы их, оказали заметное влияние на русскую литературу, сказавшись как в драматической поэме Печерина, поздних драмах В. К. Кюхельбекера, так и в целом ряде других произведений.¹² Это влияние, отразившись в литературе символизма, дошло и до XX века, сказавшись, на мой взгляд, в таком произведении, как «Поэма без героя» А. Ахматовой.

Что касается темы неизбежной гибели Петербурга в пучине вод, то она получила широкое отражение в русской романтической и позднеромантической поэзии. Впрочем, этот мифологический мотив выходит за рамки поэмы Мицкевича и собственно петербургского фольклора.¹³

Известно, что мотив гибели Петербурга присутствует и в творчестве Достоевского. Обычно исследователи включают его в ту общелитературную линию, которая восходит к петербургскому фольклору и «Медному всаднику». Однако никто не обратил внимания на тот момент, что Достоевский, говоря о гибели Петербурга, никогда не говорит об его потоплении. В его произведениях присутствует образ города-миража, города-призрака, таинственно проступающего из окутывающего его тумана.

«Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый

¹² См. об этом подробнее: *Архипова А. В.* Экспериментальные жанры романтической драматургии и поздние драмы В. К. Кюхельбекера // *Русская драматургия и литературный процесс: Сб. статей.* СПб.; Самара, 1991. С. 140—171.

¹³ См. об этом в указанной работе Ю. М. Лотмана «Символика Петербурга и проблема семиотики города».

город, подыметя с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красоты, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?“ Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что всё это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: „Вот они все кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, всё это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это всё грезится, — и всё вдруг исчезнет“» (13, 113).

То, что представляется герою «Подростка» Аркадию Долгорукому, уже рисовалось в воображении автора «Петербургских сновидений в стихах и прозе» (1861). Известно, что картина призрачного, миражного города, сотканного из дымов и туманов, данная в «Петербургских сновидениях», перекочевала сюда с небольшими изменениями из повести «Слабое сердце» (1848).

«Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу» (2, 48).

Думается, что можно достаточно убедительно указать на литературный источник этого образа. Во фрагменте «Пригороды столицы», входящем в «Отрывок» («Отступ») из III части «Дзядов», Мицкевич рисует картину зимнего Петербурга, которую наблюдает издали подъезжающий к городу герой поэмы:

Но вот уже город. И в высь небосклона
Над ним воздымается город другой,
Подобье висячих садов Вавилона,
Порталов и башен сверкающий строй:
То дым из бесчисленных труб. Он летит,
Он пляшет и вьется, пронизанный светом,
Подобен каррарскому мрамору цветом,
Узором из темных рубинов покрыт.
Верхушки столбов изгибаются в своды,
Рисуются кровли, зубцы, переходы,
Как в городе том, что из марева свит,
Громадою призрачной к небу воспрянув,
В лазурь Средиземного моря глядит
Иль зыблется в зное ливийских туманов

И взор пилигримов усталых влечет,
Всегда недвижим и всегда убегает...
Но цепь загремела. Жандарм у ворот.
Трясет, обыскал, допросил — пропускает.
(Т. 3. С. 259)

Поэт проясняет этот образ в специальном авторском примечании к тексту нарисованной картины: «Дым в северных городах, во время мороза, поднимаясь к небу фантастическими узорами, создает зрелище, подобное явлению, именуемому миражем, которое обманывает плавающих на морях и путников в песках Аравии. Мираж представляется то городом, то деревней, то озером или оазисом; все предметы видимы весьма ясно, но приблизиться к ним невозможно, они держатся все время на равном расстоянии от глаз путешественника и, наконец, исчезают» (Т. 3. С. 290).

К образу призрачного Петербурга Мицкевич еще раз вернулся во фрагменте «Олешкевич»:

Мороз упал. Миражем ледяным
Над кровлями раскинувшийся дым,
Воздушный город, замок великана
Повис, обмякнув, ключьями тумана
И, в испареньях теплых растворясь.
Покрыл столицу белою завесой.
(Т. 3. С. 281)

Сходство образов у Мицкевича и Достоевского слишком велико, чтобы быть случайным совпадением.¹⁴ Не только поднимающиеся дымы из труб, создающие в воздухе второй город, но, главное, тема города-призрака, обманчивого миража, осложненная мотивом лживой дьявольской сущности города и его неизбежного исчезновения, — все эти темы, мотивы и образы — общие у Мицкевича и Достоевского.

Мысль о дьявольской природе Петербурга возникает уже в «Слабом сердце». Аркадий Иванович, прозрев призрачную, миражную сущность города, был охвачен «каким-то могучим, но доселе не знакомым ему ощущением». Он вдруг понял и свою тревогу, и отчего погиб бедный Вася. Он понял в эту минуту и дьявольскую душу Петербурга и его обреченность.

Эта же мысль очень четко сформулирована Достоевским в фельетоне 1861 г., где она пропущена сквозь призму гоголевских ассоциаций. «Я (...) как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то

¹⁴ В «Дзядях» можно найти и другие параллели к текстам Достоевского. Во фрагменте «Дорога в Россию», которым открывается «Отрывок», Мицкевич рисует символический образ русской тройки и сидящего в ней жандарма, который сопровождает заключенного. Жандарм кулаком бьет возницу, тот стегает кнутом проходящих солдат, загородивших дорогу (т. 3. С. 256). Вспоминается «Фельдъегерь» из «Дневника писателя» 1876 г. «Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок», — отмечает Достоевский. Вслед за Мицкевичем он увидел «эмблему» в «этой отвратительной картинке» (22, 28, 29).

темным слухам, по каким-то таинственным знакам (...) Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё хохотал!» (19, 69, 71).

Думается, что эта сложная концепция Петербурга, созданная писателем и отразившаяся затем во всех его петербургских романах, возникла в результате конгломерата личных впечатлений и размышлений Достоевского-петербуржца и многих литературных ассоциаций. Возможно, молодой писатель и наблюдал картину зимнего Петербурга на берегу Невы, как сам рассказал об этом. Но несомненно, картина эта оформилась в его сознании не без влияния прочитанных книг. И. Д. Якубович в статье «Достоевский в работе над романом „Бедные люди“» относит «видение» фантастического Петербурга к январю 1844 года.¹⁵ К этому времени Достоевский, возможно, уже знал русские строфы «Дзядов» и мог сравнить свои впечатления с описанием Мицкевича. Однако именно Достоевский-петрашевец смог сформулировать свое представление о Петербурге как городе контрастов и несправедливости, городе призрачной действительности, вобрав в это представление идеи и образы Пушкина и Белинского, Гоголя и Мицкевича, многочисленные литературные, фольклорные и философские ассоциации. Не случайно при своем «втором рождении», возвратившись в Петербург и в литературу после каторги и ссылки, писатель снова вернулся к образу города-призрака, углубив и заострив этот образ. Он считал его принципиально важным для своего творчества и хотел напомнить о нем читателю, справедливо полагая, что «Слабое сердце» уже забыто.

Можно, думается, сделать вывод о том, что среди множества факторов, оказавших влияние на мировоззрение Достоевского, определенное место занимали идеи Мицкевича. Примечательно также, что и после каторги писатель не отверг эти идеи.

Однако впечатления от знакомства с Мицкевичем отразились не только на формировании образа Петербурга и, шире, мира современной городской цивилизации. Мицкевич (если даже иметь в виду только русские строфы «Дзядов») в какой-то мере повлиял и на отношение Достоевского к «польскому вопросу». Фрагмент «Смотр войска», в котором Мицкевич изобразил торжественный парад на Царицыном лугу в Петербурге морозным зимним днем, весь проникнут презрением и ненавистью к бездушной царской машине, ко всем элементам ее, от высших до низших, без различия. «Смотр войска» мог восприниматься русскими читателями как проявление русофобии Мицкевича, его неприязни не только к государственной системе России, но и к русскому народу. Возможно, так он был воспринят Пушкиным, полемизировавшим с этим стихотворением Мицкевича во вступлении к «Медному всаднику» («Люблю воинственную живость Потешных Марсовых полей...»). Так же,

¹⁵ См.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1991. Т. 9. С. 49.

вероятно, «Смотр войска» был воспринят и Достоевским, дав повод впоследствии для формирования его антипольских настроений.

Отрицательное отношение Достоевского к идеям польской независимости несомненно. Однако на общем фоне неприятия польской национальной идеи интересно отметить некоторые нюансы, связанные, как мне думается, с восприятием творчества Мицкевича. Можно думать, что отношение Достоевского к Мицкевичу всегда оставалось достаточно сложным. Несколько раз Достоевский цитировал польского поэта (не называя, впрочем, его имени), что само по себе говорит об уважительном отношении к его творчеству.

В разные годы Достоевский дважды упоминает Конрада Валленрода. И хотя неясно, имел ли он в виду исторического рыцаря XIV в. или героя одноименной поэмы А. Мицкевича, второе более вероятно. Поэма «Конрад Валленрод», написанная и изданная Мицкевичем в России в 1828 г. и тут же переведенная на русский язык (в прозе С. П. Шевыревым и в стихах М. П. Вронченко), была широко известна русским читателям. Вероятно, Достоевский познакомился с ней в юности, но сохранил память о герое Мицкевича на всю жизнь. Оба раза Конрад Валленрод упомянут как синоним изменника и предателя.

В главку октябрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. «Летняя попытка старой Польши мириться» имя Конрада Валленрода перешло из статьи Н. И. Костомарова, напечатанной в «Новом времени» (1877. 24 июня). Костомаров, а вслед за ним Достоевский «разоблачают» попытки представителей польской эмиграции вступить в контакт с русским правительством и предложить услуги польской интеллигенции русскому государству. Достоевский и Костомаров видят в этой шляхетской интеллигенции лишь «Конрадов Валленродов, предателей» (26, 58), ненавидящих Россию и всегда пользующихся возможностью навредить ей.

Гораздо интереснее второе упоминание Конрада Валленрода Достоевским — в записной тетради 1881 г. среди набросков к будущим (и не состоявшимся уже) выпускам «Дневника писателя». Одна из тем, разрабатывавшихся для неосуществленного «Дневника», — полемика с К. Д. Кавелиным и его статьей «Письмо к Ф. М. Достоевскому».¹⁶ Кавелин в своем «письме» оспаривал ряд положений Пушкинской речи и «Дневника писателя» 1880 г. (о всеотзывчивости русского народа, о преимуществах православия перед западным христианством и др.). Достоевский справедливо усмотрел здесь голос либерала-западника и в своем ответе Кавелину намеревался полемизировать со всем этим направлением. Но нас сейчас интересует тот контекст, в котором возник в сознании Достоевского образ героя Мицкевича. Одним из вопросов, по которым развернулась полемика между Кавелиным и Достоевским, был вопрос этический. В «Дневнике писателя» за 1880 г., полемизируя с А. Д. Градовским о нравственном идеале русского народа, Достоевский

¹⁶ Вестн. Европы. 1880. № 11.

евский утверждал, что нравственность и религия неразделимы: «Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится их в будущее, к целям вековым, к радости абсолютной. Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной? А нравственные идеи только одни; все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале, ибо оно несет в себе всё, все стремления, все жажды, а, стало быть, из него же исходят и все ваши гражданские идеалы» (26, 164). С этой мыслью Достоевского Кавелин был не согласен, отрицая существование абсолютных нравственных идей и законов. «Нравственность есть по преимуществу то, что мы называем духом, — писал он. — Всякий в глубине души знает, доброе он замышляет и делает или дурное. Чувства добра и зла он носит в себе (...) Нравственный человек тот, кто в своих помыслах и поступках остается всегда верен голосу своей совести, подсказывающей ему, хороши ли они или дурны (...) Что именно совесть подсказывает, почему она одни помыслы и поступки одобряет, другие осуждает, — это уже выступает из области нравственности и определяется понятиями или идеями, которые слагаются под влиянием общественности, и потому, в разное время, при разных обстоятельствах бывают весьма различны».¹⁷ Вот с этими-то представлениями, согласно которым общественная нравственность или мораль относительно и различны в разных исторических условиях, Достоевский никак не мог согласиться. Это суждение Кавелина вызвало массу возражений ему, зафиксированных в записной тетради.

«Кавелину. Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению (...) Пролить кровь вы не считаете нравственным, но пролить кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но, позвольте, почему безнравственно кровь пролить? (...)»

Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могут (...)

На той почве, на которой вы стоите, вы всегда будете разбиты. Вы тогда не будете разбиты, когда примете, что нравственные идеи *есть* (от чувства, от Христа), доказать же, что они нравственны, нельзя (соприкосновение мирам иным)» (27, 85).

Как пример относительности и историчности нравственных норм Кавелин называет религиозных фанатиков, которые сжигали еретиков на костре и которых церковь причисляет к лику святых, а также террористов вроде Орсини или Шарлотты Кордэ, которые были «патриоты, высоконравственные люди».¹⁸

Достоевский убежден, что, находясь на такой позиции, можно далеко зайти. Писатель, который с «Преступления и наказания» боролся против тезиса «цель оправдывает средства» и доказывал,

¹⁷ Там же. С. 448, 449—450.

¹⁸ Там же. С. 456.

что дурные средства искажают и разрушают самые благие цели, утверждает: «Сжигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь *честность* (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образ и идеал есть у меня, дан, Христос. Спрашиваю: сжег ли бы он еретиков — нет. Ну так значит сжигание еретиков есть поступок безнравственный» (27, 56).

И далее: «Инквизитор уже тем одним безнравственен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сжигать людей. Орсини тоже. Конрад Валленрод тоже» (там же).

Итак, Конрад Валленрод называется в кругу людей, которые шли к благой, как им казалось, цели дурными средствами и потому были глубоко безнравственны, лишены христианского идеала. Казалось бы, что в трактовке этого образа, полулегендарный-полуисторический прототип которого, литовец по происхождению, вступил в члены немецкого Ордена крестоносцев, был избран его магистром и сделал все, чтобы в очередном походе против Литвы Орден был разбит, чем отомстил за разорение немцами Литвы, — в трактовке этого образа Достоевский выступает против Мицкевича, для которого Конрад — положительный герой. Но дело тут сложнее. Конечно, Мицкевич сочувствует своему герою, человеку сильному духом, верному сыну своей земли, отказавшемуся от личного счастья ради мести за родину. Но поэт далек от того, чтобы воспринимать извилистый и сложный путь Конрада Валленрода как образец правоты и доблести. Осложняя исторический сюжет любовной линией, поэт-романтик рядом с участием Конрада показывает и участь его жены Альдоны — главной жертвы Валленрода. Движимый и ослепленный своей идеей мести, Конрад Валленрод действует по принципу «цель оправдывает средства». Воспитанный в немецком плену, с детства слышал он наставления старого литвина: «Ты же раб, у рабов лишь одно есть оружие — измена» (Т. 1. С. 412. *Пер. Н. Асеева*). Его путь хитрости и обмана противопоставлен честному бою свободных рыцарей. Достигнув цели, нанеся своими действиями огромный урон Ордену крестоносцев, Конрад оказывается внутренне опустошенным. Ему ничего не остается как погибнуть в стычке с крестоносцами, разгадавшими его измену.

Носителем подлинной нравственности в том именно смысле, как трактует ее Достоевский, выступает в поэме Мицкевича Альдона, истинная христианка-подвижница, добровольно замуравившая себя в Мариенбургской башне, так как, продолжая любить Конрада, Альдона стремится быть рядом с ним, а, осуждая его путь войны и измены, навсегда отделяется от него. Конрад тайком ото всех по ночам приходит к башне, где за железной решеткой смутно виднеется силуэт отшельницы. Эти ночные свидания-разговоры становятся главным смыслом его жизни, отодвигая сомнительные планы интриг, войны и мести.

Вокруг меня война рокошет глухо,
Тревога труб, оружия перезвоны,

Меж тем взволнованное слышит ухо
Из уст твоих слетающие стоны,
И целый день мой полон ожиданьем,
Чтоб мрак полночный сжалился над нами:
Я вечер дню средь дня воспоминаю,
Я жизни счет веду лишь вечерами...

(Т. 5. С. 401)

Брось мыслить об убийствах и изменах,
Старайся приходить сюда почаще, —

вторит ему замурованная Альдона (Т. 5. С. 433). Она отказывается бежать с мужем из Мариенбурга, так как дала обет Богу, да и счастье их уже невозможно: оба состарились, жизнь сломана, искалечена безвозвратно.

Не осуждая безоговорочно своего героя (ясный и однозначный взгляд на людей и их поступки противоречит романтическому мировосприятию), Мицкевич показывает его трагизм и обреченность, сомнительность его изменнического пути. Возможно, что именно так понял авторский замысел Достоевский, когда в молодые годы прочитал поэму Мицкевича, такую память он и сохранил об ее герое, вспомнив его в подтверждение своей мысли, что «недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям» (27, 56). Разумеется, в отличие от Мицкевича Достоевский воспринимает Конрада Валленрода лишь как изменника и предателя, но и здесь нет безусловного отталкивания от Мицкевича, а скорее спор с ним.

Думается, что отношение Достоевского к Мицкевичу всегда было ориентировано на отношения между Мицкевичем и Пушкиным. Драматизм этих отношений был в общих чертах известен. Высшим проявлением этого драматизма стали стихотворения Мицкевича «Русским друзьям» и «Он между нами жил...» Пушкина, безусловно хорошо известные Достоевскому. Спор Пушкина с Мицкевичем по польскому вопросу несомненно утверждал Достоевского в его взглядах на роль русского народа и русского государства в общеславянском деле. Здесь важную роль играла идея всеобщего братства народов, по-своему разделяемая и Мицкевичем, и Пушкиным, и Достоевским. Уже отмечалось, что русские молодые оппозиционеры воспринимали Мицкевича как главу «славянофильской партии». Однако национальные устремления Мицкевича оформились в 1830-х годах, как известно, в идею польского мессианизма, выраженную как в III части «Дзядов», так и в создававшихся в те же годы «Книгах народа польского и польского пилигримства». «Идея польского мессианизма — учение о жертвенном предназначении Польши, об искупляющем и спасающем все другие народы мученичестве страны, уподобляемой образу распятого и воскресающего Бога»,¹⁹ сложилась после поражения восстания 1830 г. Рассеянные по Европе поляки-эмигранты (польские пилигримы) призваны были, согласно Миц-

¹⁹ Державин К. Н. «Дзяды» // Мицкевич. Т. 3. С. 20.

кевичу, вдохнуть новые свежие силы в идеи свободы, равенства и братства, послужить народам Европы и всему человечеству. «С именем Польши, — писал Мицкевич в газете «Польский пилигрим», — связано представление не только о свободе и равенстве, но и о самопожертвовании за всеобщую свободу и равенство» (Т. 5. С. 48—49). Проявлением «польского духа» считает Мицкевич провозглашенный в революционной Варшаве лозунг «За нашу и вашу свободу!» (Там же. С. 49). Мессианская идея оказала огромное влияние на польскую романтическую литературу 1840-х годов и польское общественное сознание. Впрочем, она перестала рассматриваться как славянофильская, так как не разделяла идеалов всеславянского объединения; аллегория «славянских ручьев» казалась оскорбительной для поляков, вероятно, потому, что подразумевала аллегорию «русского моря».²⁰ Здесь, возможно, причина главного расхождения Мицкевича и Пушкина. Нашему поэту, естественно, был близок идеал того мира, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».²¹ Возможно, что неким отдаленным прообразом этого мира представлялась Пушкину многонациональная Российская империя, протянувшаяся «от хладных финских скал до пламенной Колхиды», и где в будущем «и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгуз, и друг степей — калмык» предстанут как равные представители единой страны и единого народа. И Пушкину могло искренне казаться, что те, кто разделяет идеи сепаратизма (как, например, поляки), стоят на иной, более низкой и отсталой стадии восприятия идеи братства народов. Он видел тут у Мицкевича не только противоречие (с одной стороны, идея единой семьи народов, с другой — независимость поляков от России), но и измену прежним идеалам. Известно, что просвещенные друзья Пушкина (П. А. Вяземский или А. И. Тургенев, например) не разделяли этих заблуждений великого поэта. Но Достоевский воспринял их целиком, он опирался на них и развивал в сторону большей последовательности. Конечно, Достоевскому также не были чужды идеи всеобщего братства и единой семьи народов. Но образ «русского моря», в котором сливаются «славянские ручьи», трансформировался у него даже не в образ «старшего брата», но в образ матери-России, мудрой и любящей наставницы малых славянских народов. Идея русского мессианизма, которую исповедовал Достоевский, возможно, своими корнями уходит в его далекую юность со спорами петрашевцев об «идее славянофилизма» и втором пришествии Иисуса Христа именно в славянском (для Достоевского — русском) мире. Мицкевич писал в 1830-х годах о польских «скитальцах», об «этом огромном посольстве, отправленном пред лицо европейских народов» (Т. 5. С. 45), на которых и Польша и Европа смотрят с ожиданием и надеждой.

²⁰ См.: *Налепинский Тадеуш*. «Душа Польши» // Вестн. Европы. 1909. Окт. С.: 506—531.

²¹ *Пушкин*. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1948. Т. 3(1). С. 270; стихотворение «Он между нами жил...».

Для Достоевского «русский скиталец», «исторически необходимо явившийся» в нашем обществе и в разные эпохи «ревностно» работая с новой верой на новой ниве, целью своей полагает достижение «всемирного счастья» (26, 37). Этому скитальцу «Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог» (13, 377). И именно русская национальная идея, «русская мысль» есть идея всеобщего единения и мира. Там француз — это только француз, а немец — только немец, там «консерватор» и «петролейщик» всего только борются за существование. «Одна Россия живет не для себя, а для мысли (...) вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы!» (13, 377). Разумеется, мессианская идея Достоевского черпала силы не в образах тех скитальцев образованного высшего класса, которые были воссозданы русской литературой (от Онегина до Версилова). Спасение он видел в народе, в его идее Христа и православия. И здесь корень всех противоречий его с идеей мессианства польского, а возможно, и одна из причин нетерпимого отношения к польскому вопросу. Одинаковые полюса, как известно, отталкиваются. Бедный и униженный народ, экономически отсталый, недавно лишь порвавший с крепостным правом (и даже до этого) есть носитель великой духовности, жертвенности и доброты, которая способна преодолеть все национальные и классовые раздоры, привести народы к единению, воссоздать на земле золотой век. Сходство общей идеи парадоксальным и в то же время закономерным образом приводит к непримиримости между ее носителями, так как на главный вопрос: кто же является народом-мессией — Мицкевич и Достоевский отвечали по-разному.

Не следует, конечно, полагать, что Достоевский читал публицистические сочинения А. Мицкевича и других идеологов польского мессианизма. Но общее представление об этих идеях он мог получить как из художественных произведений автора «Дядюв», так и из разговоров в среде петрашевцев или политических споров с осужденными поляками в Омском остроге.²²

Русская идея Достоевского, разумеется, проросла из многих корней, впитала в себя многие источники. И, думается, не будет большой натяжкой утверждение, что идея польского мессианизма, которую Достоевский отрицал и с которой полемизировал, была одним из этих источников.

Мицкевич писал в 1833 г.: «Мы убеждены, что не можем служить Европе и человечеству, как только служа отчизне нашей, Польше; что лишь в той мере, в какой мы будем полезны польскому делу, смогут воспользоваться нами Европа и человечество; что совершенно так же, как не могут быть разрешены все трудности внешней политики, пока не будет оказано правосудие Польше, так лишь существование свободной и независимой Польши может практически разрешить и в области политических теорий все трудности, из-за

²² См. отрывки из воспоминаний Т. Токаржевского «Каторжники» (Звенья. М., Л., 1936. Т. 6. С. 495—499).

которых тщетно напрягается до сих пор мысль и льется кровь западных народов Европы» (Т. 5. С. 46—47). И чуть ли не прямой полемикой с этой мыслью звучит известное рассуждение Версилова в «Подростке»: «Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом; равно — англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет — как нигде» (13, 377). Иными словами, народы Европы, а к ним можно причислить и поляков, стоят на национальной почве, и лишь русские — подлинные интернационалисты, говоря языком современным.

Рассуждения Версилова, хотя и вступают в противоречия с некоторыми высказываниями автора «Дневника писателя», тем не менее входят составляющей частью в «русскую идею» Достоевского.

Можно сказать, что трактовка Достоевским ряда проблем, в том числе национальных (еврейский вопрос, польский вопрос и др.), сосуществовала как бы на разных уровнях и даже в разных плоскостях. Существовал уровень бытовой, политико-публицистический и философски-художественный.²³ Они, несомненно, переплетались, влияли друг на друга, но были и различия. На публицистическом уровне могли возникнуть такие статьи, как «Халаты и мыло», «Константинополь должен быть наш» и т. п. Но на высшем, идеальном, художественном уровне возникали такие сочинения, как «исповедь» Версилова, «Похороны „общечеловека“», Пушкинская речь. И можно поэтому предположить, что, относясь отрицательно к идее польского сепаратизма и неприязненно к выразителям этой идеи, Достоевский сохранил уважительное отношение к самому яркому и талантливому представителю польской национальной поэзии и польской национальной идеи — Адаму Мицкевичу.²⁴

²³ Я имею в виду здесь не жанровое отличие публицистики и художественных произведений, а разный уровень постижения проблемы.

²⁴ Здесь опять же напрашивается параллель: Мицкевич—Пушкин. Относясь отрицательно, почти враждебно к участникам польского восстания 1830 г., написав в 1831 г. «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», Пушкин в то же время обращается к поэзии Мицкевича. В 1833 г. он переводит из Мицкевича «Будрыс и его сыновья» и «Воеводу» и, видимо, собирается переводить «Отрывок» из «Дзядов» (см.: *Пушкин А. С. Медный всадник*. Л., 1978. С. 137—139). В 1834 г. пишет стихотворение «Он между нами жил...», в черновиках которого четко формулирует противоречивость ситуации, предопределившей сложность своих отношений с Мицкевичем:

Мы встретились и были мы друзья,
Хоть наши племена и враждовали.

(*Пушкин*. Полн. собр. соч. 1949.
Т. 3(2). С. 942)